

3. *Виноградов В. В.* Проблемы авторства и теория стилей. М., 1961.
4. *Гиппиус В.* Гоголь. СПб., 1994.
5. *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: в 7 т. М., 1984–1986. Т. 5.
6. *Луковский Г. А.* Реализм Гоголя. М.-Л., 1959.
7. *Елистратова А. А.* Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., 1972.
8. *Зеньковский В. Н.* Гоголь. СПб., 1994.
9. *Золотусский И. П.* Гоголь. М., 2005.
10. *Прозоров В. В.* Введение в литературоведение. М., 2004.
11. *Смирнова Е. А.* Поэма Гоголя «Мертвые души». Л., 1987.

Е. Ф. Григорьева
Мееринская средняя школа
Вологодской области

«СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА» С. Т. АКСАКОВА КАК ОПЫТ ДУХОВНОЙ АВТОБИОГРАФИИ: МОЛИТВА И УМОЛЧАНИЕ (НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ)

Можно указать причины для возражений против того, чтобы рассматривать «Семейную хронику» как опыт духовной автобиографии, однако обратим внимание и на доказательства в пользу подобного рассмотрения, попытаемся ответить на вопрос: почему «Семейная хроника» актуальна сегодня как опыт духовной автобиографии?

Бережение веры не как музейной реликвии или объекта научного изучения актуально в наше время. Бережение веры как принципа жизненного поведения, требующего это самое поведение – домашнее или деловое, повседневное... любое – умерять в соответствии с христианским внутренним анализом, в соответствии с вечными заповедями: «Что ты видишь в глазу брата своего сучок, а в своем бревна не видишь?», или: «Как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так и ты к ним относишься».

Эти слова об умеряемой христианским анализом натуре, принадлежащие С. Т. Аксакову, сказаны о Гоголе, но в полной мере относятся и к нему самому. А адресованы они – потомству, т. е. всем последующим поколениям. С этих слов мы приступаем к выявлению доказательств, которые помогают увидеть «Семейную хронику», во-первых, как опыт духовной автобиографии, а во-вторых, как *речевое высказывание* писателя, связующее *множество* речевых высказываний Аксакова в единое целое и не позволяющее дробить наследие писателя на главные и основные или неглавные и второстепенные произведения.

В пределах данной работы не могут быть подробно рассмотрены эти доказательства в их взаимосвязанности – каждое может стать предметом самостоятельного исследования; задача же данной работы – показать, как даже при малейшем внимании к этим доказательствам «Семейная хроника» начинает проявляться как опыт духовной автобиографии, приоткрывая самый сокрытый, самый потаенный

предмет творчества Аксакова – его собственный духовный путь, его «внутреннюю биографию», проявляя сам процесс осмысления жизненного пути, связанный с размышлениями писателя о роли искусства в жизни человека и о роли *веры*, связанный с размышлениями Аксакова о странностях человеческого поведения (в том числе и своего собственного), о человеческом неумении выстраивать нормальность человеческой жизни выполнением заповедей, не внешним говорением о заповедях, о вере, искренности, доброжелательности, а внутренним трезвением, внутренним старанием держать себя в норме в соответствии с *говоримым*, т. е. в соответствии с нормой *равновесия* и *соответствия* внешнего и внутреннего.

Перечислим выписывания и эти доказательства:

– устойчивый мотив авторского (часто горестного, печального) недоумения, который проявляется на протяжении всего творческого пути писателя и исчезает лишь в последнем произведении – в «Очерке зимнего утра»;

– взаимосвязанность ситуаций умолчания, которая показывает устойчивое внимание Аксакова не столько к *ушедшей* в прошлое действительности, сколько к *сопоставлению* прошедшего и протекающего перед глазами в момент выписывания – *выговаривания* – того или иного речевого высказывания;

– взаимосвязанность множества авторских отступлений от повествования о действительно бывшем со вниманием писателя к быстротечности человеческой жизни, к ее временности;

– устойчивое на протяжении всего творческого пути авторское внимание к внутреннему миру человека, к «тайнам сердца»;

– столь же устойчивое внимание автора к необъяснимости человеческого поведения, к феномену человеческого поведения;

– очевидность традиционности позиции позднего Аксакова, которая прямо и открыто заявлена в работах 30-х годов, очевидна в театрально-критических статьях 20-х годов и связывает в единое целое множество речевых высказываний писателя, – позиции выполнения долга перед историей и долга перед совестью;

– очевидная однонаправленность творческих и духовных исканий Аксакова и его современников, связанная с размышлениями о значении и ценности отечественной культуры, в которой взаимосвязаны понятия долга, служения Отечеству и самоопределение собственного своего отношения к христианским заповедям, к Православию.

Наша задача – указать на те условия, при которых «Семейная хроника» начинает проявляться как опыт духовной автобиографии автора и как произведение, связующее творческое наследие писателя в единое целое.

Обратим внимание на то, как мотив недоумения, связанный с неумением объяснить различные странности человеческого поведения, связывается со вниманием автора к быстротечности человеческой жизни, очевидно и явно проявляющимся во взаимосвязанности авторских отступлений от повествования.

Известно, что мальчик Сережа, «*желанный, прошенный и моленый*» (1 : 279), как герой и как предмет внимания автора, появляется на последних страницах «Семейной хроники»; в произведении этого мальчика нет. Однако есть след горестного недоумения этого мальчика, который, если проследить в соответствии

с хронологией, проявляется во многих речевых высказываниях, исчезая окончательно лишь в последнем – «Очерке зимнего дня».

С чем же связано это горестное недоумение, так сильно врезавшееся в детскую память и почти до конца жизни не оставлявшее писателя? Перечитывая «Семейную хронику» в контексте целостного творческого и жизненного пути Аксакова, видим, что это недоумение обусловлено, с одной стороны, необыкновенной наблюдательностью, развившейся еще в детстве, а с другой – с неумением *объяснить* странности человеческого поведения: жестокость, лицемерие, *безразличие к чувствам другого*.

«Что за мудреное создание человек!» – воскликнет Аксаков в «Литературных и театральных воспоминаниях» (3; 19), которые, казалось бы, не имеют отношения к «Семейной хронике». Но если ситуацию, к которой относится это восклицание, сопоставить с любой ситуацией «Семейной хроники», которая свидетельствует о труднообъяснимом поведении человека, – нельзя будет не заметить устойчивости аксаковского внимания к самой проблеме *необъяснимости* человеческого поведения. Вспомним услужливого Калмыка, который может предать в любую минуту, генерала-немца, который восхищается звуками церковного пения, исполняет обряды православной церкви и тут же, под звуки этого пения, приказывает палками наказать одного из героев «Семейной хроники»... Вспомним старика Зубина или самого Степана Михайловича Багрова, как он оторвал косу у своей жены, но вспомним также и причину гнева старика Багрова, вспомним женщину-лгунью, которая рассказывает о том, как беседовала с императрицей, Куролесова, саму Прасковью Ивановну, которая натерпелась предостаточно от жестокого мужа, молилась со слезами и в то же время весьма странно вела себя по отношению к своим родственникам. «Даже займы не давала ни одного рубля», – выговорит Аксаков свое недоумение в главе «Гимназия» (2; 8). А вот слова, сказанные о старике Багрове: «И этот добрый, благодетельный и даже снисходительный человек омрачался иногда такими вспышками гнева, которые искажали в нем образ человеческий... делали его способным... к жестоким, отвратительным поступкам. Я видел его таким в моем детстве... и впечатление страха до сих пор живо в моей памяти!» (1; 90) Как видим, то же недоумение и в «Семейной хронике», когда Аксаков выписывает – или выговаривает – воспоминания о поведении Степана Михайловича Багрова. А вот слова о другом человеке, о Загоскине, которого Аксаков называл добрейшим человеком, биографию которого Тургенев называл образцом – с таким теплым чувством к Загоскину она написана. И в то же время читаем: «Загоскин в театре не был, но неистовствует против «Женитьбы» и особенно взбесился за эпиграф к «Ревизору». С пеной у рта кричит: «Да где же у меня рожа крива? « Это не выдумка» (3; 254), – с горестной задумчивостью и очевидным недоумением сообщал Аксаков Гоголю о том, как были приняты его произведения. А вот другие слова, которые также свидетельствуют о горечи Аксакова: «... Грек Бенардаки, очень умный, но без образования, был единственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь!» (3; 174) «Во всем круге... моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому бы нравился Гоголь и кто бы ценил его вполне. Даже никого, кто бы всего его прочел!» (3; 170)

Оставив на некоторое время поздние произведения Аксакова и учитывая это авторское недоумение, выразившееся в пятидесятые годы, перечитаем его ранние стихотворения и театрально-критические статьи. Нельзя не увидеть будет того же самого очевидного аксаковского недоумения. Как сказано выше, мотив недоумения в творчестве Аксакова – это предмет отдельной работы. Укажем здесь лишь на то, к каким сужающим, уменьшающим значение творчества Аксакова выводам можно было прийти, если не учитывать целостности духовного пути писателя. В известной книге «Семья Аксаковых» Ю. В. Манн так писал о басне «Три канарейки» (1812) и о стихотворении «Песнь пира» (1815): «На страницах журнала («Русский вестник». – *Е. Г.*) печатались «Стихи по случаю известия о нашествии неприятеля», «Молитва русских при опоясании на брань», «Обращение к воинам»... Рядом с этими материалами стихи Аксакова выглядели несвоевременными и несколько даже диковатыми... И неуклюжее морализаторство басни, и наивное эпикурейство, и гедонизм «песни», славящей минутные радости бытия, – все было традиционным и книжным. Подлинные переживания и заботы автора обнаружить в них трудно; кажется, жизнь его шла своим чередом, а стихотворство – своим» (4 : 77, 78).

Вспомним здесь восклицание Аксакова, относящееся к Прасковье Ивановне, которое находим на первых страницах главы «Гимназия»: «... в настоящее время она не помогала моему отцу ни одной копейкой и заставляла его с семейством терпеть нередко нужду: даже займы не давала ни одного рубля» (2; 8), – и сопоставим с последующим восклицанием писателя в главе «Университет», также относящимся к этой героине и связанным с ситуацией получения наследства, а потом снова обратимся к басне 1812 года.

«Боже мой, что значит богатство! Как оно разодрало глаза всем добрым людям! Какою завистью закипели сердца близких приятелей и даже родных» (2; 156) – эти слова относятся к ситуации, которую писатель объяснял так: родители, получившие наследство, простили долги тем людям, которые должны были Прасковье Ивановне (в гл. «Университет» Надежда Ивановна. – *Е. Г.*), однако «этот поступок никого не обезоружил, не примирил с богатыми наследниками» (2; 156), отец с матерью были огорчены, как пишет Аксаков, таким враждебным к себе отношением.

Вот так-то завсегда и меж людей бывает:
Несчастье их соединяет,
А счастье разделяет (3; 635), –

так писал молодой Аксаков в своем первом стихотворении, явно несущем на себе отпечаток того конфликта, который переживала его семья, и свидетельствующем о том внутреннем горестном недоумении, которое будет очевидно и на страницах «Семейной хроники», и во множестве других речевых высказываний писателя, свидетельствуя об устойчивом внимании Аксакова к внутреннему миру человека и о желании как-то объяснить, понять труднообъяснимое.

Доказательством внимания к феномену человеческого поведения являются и письма Аксакова, и ранние статьи. Вот, например, из письма И. С. Тургеневу о «Рудине»: «Повесть... раскрывает глубокие тайны духовной природы человека,

а всего более ту запутанную и, по-видимому, необъяснимую совместимость противоположных качеств» (5 : 338). Сравним с заключением «Семейной хроники»: «Прощайте, мои светлые и темные образы, мои добрые и недобрые люди, или, лучше сказать, образы, в которых есть и светлые и темные стороны, люди, в которых есть и доброе и худое» (1; 279).

Как видим, именно духовная природа человека интересует Аксакова, внутренний мир, «внутренняя биография». Задолго до «Семейной хроники» было написано «Письмо к издателю «Московского вестника» (О значении поэзии Пушкина)». Главной заслугой поэта, его достоинством Аксаков считал «силу и точность в изображениях не только видимых предметов, но и мгновенных движений души человеческой». (3; 518). Подобное в этом же 1830 году писал Аксаков и о Шаховском: род сочинений его, «кроме таланта, требует великой опытности, искусства, долговременного наблюдения нравов, познания сердца человеческого» (3; 524). Как известно, и в 1852 году, через двадцать с лишним лет, призывая современников собирать материалы о Гоголе, Аксаков писал именно о биографии внутренней жизни: «Чем предмет выше, тем отойти надобно дальше: я разумею биографию внутренней жизни, искреннюю и полную» (3; 604).

Именно биографию своей внутренней жизни, связанной с характером матери, отца, дедушки, связанной с их взаимоотношениями, самые истоки собственной биографии и осмысливал писатель в «Семейной хронике». Изучение преломления темы молитвы во множестве речевых высказываний показывает это.

Если прочитывать «Семейную хронику» как отдельное и самостоятельное произведение, тогда надо говорить, что молитва показана Аксаковым как естественный элемент канувшего в прошлое жизненного уклада, т. е. уклада *ушедшего*, в котором молитва сопровождала человека повсюду, могла быть легкой и необременительной, даже кошунственной; в трудных ситуациях оказывалась единственной надеждой. Тогда приходится признавать, что авторское заключение, которое замыкает «Семейную хронику», выдвигает вперед другую, как кажется, более значительную тему – тему времени и временности человеческой жизни, – и все описанное в «Семейной хронике» (благодаря этому заключению) отодвигается от читателя и отходит как *прошедшее и ушедшее навсегда* вместе с переживаниями героев и вместе с темой молитвы.

Но это же заключение – при повторных перечитываниях – видится тесно связанным с теми авторскими отступлениями от повествования, которые рассеяны в «Семейной хронике» и которые свидетельствуют о том, что повествование о давно *прошедшем* связано с размышлениями о *протекающем* собственном пути. «Я помню замирание молодого сердца и сладкую безотчетную грусть, за которую отдал бы теперь весь остаток угасающей жизни...» (1; 92). Угасающая жизнь – это та, которая угасает сейчас, в момент выписывания, *выговаривания* воспоминаний.

Умолчание, которым завершается данное отступление от повествования, повторяется в том же контексте и в главе «Гимназия»: «Теперь воды Бугуруслана подмыли корни березы, она состарилась... но все еще живет и зеленеет. Новый хозяин посадил подле нее новое дерево...» (2; 12).

Отступление от повествования, которое следует далее, так же, как заключение «Семейной хроники», снова выдвигает вперед – на первый план – тему

времени, временности человеческой жизни и одновременно тему *осмысления* этой протекающей, угасающей жизни. «О где ты, волшебный мир, Шехерезада человеческой жизни, с которым часто так неблагоприятно, грубо обходятся взрослые люди, разрушая его очарование насмешками и преждевременными речами! Ты золотое время детского счастья, память которого так сладко и грустно волнует душу старика! Счастлив тот, кто имел его, кому есть что вспомнить! У многих проходит оно незаметно или нерадостно, и в зрелом возрасте остается только память холодности и даже жестокости людей» (2; 12, 13). Очевидно, что выписывание давно *прошедшего* заключено в своеобразную объемную раму размышлений *о протекающем* сейчас и требует расширения контекстов.

Здесь уместно вспомнить о том, как не однажды повторяются подобные отступления в произведениях, окружающих «Семейную хронику», как они дополняют друг друга, проявляя очевидное авторское осмысление своего жизненного пути, которое, однако, остается под спудом, остается потаенным пластом. Аксаковское умолчание, которым прерываются подобные отступления, свидетельствуют о явном нежелании автора выговаривать что-то болезненное, мучительное, не могущее быть *выговоренным*.

«Во все течение моей жизни я продолжал испытывать, приближаясь к Аксакову, подобные ощущения; но несколько лет тому назад, после двенадцатилетнего отсутствия, также довольно рано подъезжал я к тому же Аксакову: сильно билось мое сердце от ожидания, я надеялся прежних радостных волнений!.. рой воспоминаний окружил меня... но не весело, а болезненно, мучительно действовали они на мою душу, и мне стало невыразимо тяжело и грустно... не знал я, как мне прогнать мои воспоминания, как успокоить нерадостное волнение. Старые меха не выдерживают молодого вина, и старое сердце не выносит молодых чувств...» (2; 56).

Слова «холодность и даже жестокость», «нерадостное волнение», несомненно, могут быть связаны с героями «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука». Вспомним, как безразличны к чувствам невестки и даже к чувствам своего родного брата дочери старика; безразлична к чувствам родственников Прасковья Ивановна; в «Детских годах Багрова-внука» она прямо-таки по собственной прихоти распоряжается устройством их жизни. Но эти слова прежде всего связаны с детской памятью, которая сохранила тягостные впечатления. Вспомним, что поведение добросовестного и честного Григория Ивановича Карташевского также часто вызывало недоумение у молодого Аксакова; но аксаковская память сохранила и свое собственное (труднообъяснимое) поведение по отношению к Карташевскому. Вспомним хотя бы ситуацию с письмом, отправленным родителям юношей Аксаковым сгоряча. «Конечно, если бы я отложил письмо до следующей почты, я непременно бы одумался, но горячность увлекала меня... увлекала и во всю жизнь...» (2; 142). И снова умолчание прерывает мысль писателя, и снова нельзя не заметить того, как взаимосвязаны авторские отступления от повествования и как становятся все более распространенными – по мере удаления от времени, которое описывалось в «Семейной хронике», и, наконец, получают свое оформление в «Истории моего знакомства с Гоголем» как повествование об истории знакомства.

«История моего знакомства с Гоголем» есть то произведение, которое донесло до нашего времени явные отпечатки внутренней работы С. Т. Аксакова, направленной на осмысление собственного жизненного пути, и, казалось бы, целесообразнее было бы именно это произведение рассматривать как опыт духовной автобиографии. Однако сопоставление «Истории...» с «Семейной хроникой» или другими речевыми высказываниями писателя, окружающими трилогию, помогает увидеть очевидные признаки той же внутренней работы и в других произведениях Аксакова, которые написаны до «Истории моего знакомства...». Обратим внимание хотя бы на «Отрывок из семейной хроники», записанный Аксаковым в альбом будущей невестке в 1847 году, на вступление к «Запискам об уженье рыбы». О недовольстве собою, о «презрительной недоверчивости к собственным силам, твердости воли и чистоте помышлений» (4; 11) говорил Аксаков задолго до «Истории моего знакомства...».

В двадцатом столетии «История моего знакомства...» воспринималась как «ценнейший источник для изучения Гоголя» (3; 709), однако сопоставление *множества* речевых высказываний двух последних десятилетий жизни Аксакова показывает это произведение и «ценнейшим источником для изучения Аксакова». То же внимание, как и в «Отрывке из семейной хроники», и «Семейной хронике», к ситуациям, которые показывают труднообъяснимость человеческого поведения. Тот же принцип – показывать то и другое, доброе и худое, ясное и странное. «Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий... о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига)», – замечает Аксаков и уточняет: «Все знают, что это совершенный вздор, и что ему искренне верил один Загоскин» (3; 154). Все то же, но размышления о поведении *другого* тесно связаны с размышлениями о своем собственном жизненном поведении, в котором так же видится Аксакову доброе и худое.

Если учитывать этот принцип изображения человеческого характера и прочитывать «Историю моего знакомства...» как «источник для изучения Аксакова», тогда нужно будет искать, что указывается Аксаковым как причина неполного понимания между ним и Гоголем и что самое главное для Аксакова видится в Гоголе. У Пушкина Аксаков отмечал способность передать «видимые и невидимые движения души человеческой» (3; 518), у Шаховского – «великая опытность», «долговременное наблюдение нравов», «строжайшая нравственность» – «никто не найдет в его сочинениях ни соблазнительных сцен... ни вольнодумных выходов... не упрекнет его ни один отец семейства, ни моралист, ни гражданин, ни христианин» (3; 524). У Гоголя главным достоинством, по Аксакову, окажется «беспреданно умеряемая христианским анализом и самоосуждением» натура, «непреодолимое стремление быть полезным» (3; 604), беспреданное воспитание самого себя, любовь к людям.

Причиной же непонимания, по Аксакову, оказывалась холодность Гоголя, *безразличие* к искренним и теплым чувствам их, аксаковской, семьи. Здесь можно вспомнить и «Литературные и театральные воспоминания», например, воспоминания Аксакова о том, как один человек искренне любил другого и за глаза смеялся над своим же другом: «Что за мудреное создание человек! Шатров любил Николаева, как близкого родного, ухаживал за ним во время его болезни, развлекал во

время скуки... и тот же Шатров, – *выговаривал* Аксаков с недоумением, – ругался над слепотой Николева и задыхался от сдержанного смеха, когда слепец натыкался на подставленный ему стул и больно ушибался» (3; 19).

Как видим, не только в «Семейной хронике» описывались добрые и недобрые люди, как они жили, как справлялись со своими жизненными трудностями и со своими собственными характерами. Вспомним снова, что явилось первой причиной – по Аксакову – взаимного непонимания Аксаковых и Гоголя. Безразличие Гоголя к их, аксаковским, искренним и добрым чувствам – прямо не выговаривает Аксаков, но подводит читателя к этому. Но еще и боязнь ханжества, сохранившаяся с детства память, что не всегда человек, молящийся и говорящий о молитве, оказывается человеком добрым. Вспомним снова, что именно в «Семейной хронике» подробно описывает Аксаков становление характера Прасковьи Ивановны, которая молилась со слезами, которая прощалась с жизнью с удивительным самоотвержением и которая в то же время могла быть такой недоброй, такой нечуткой к своим близким. Доброй оказывалась мать... Тогда, в далеком детстве.

А теперь зададимся вопросом: какое отношение вышесказанное имеет к теме молитвы? Прямое. Очевидное самоосмысление имеет место быть в «Истории моего знакомства с Гоголем», но связано это самоосмысление не только с желанием понять Гоголя, но и с желанием оправдаться, с желанием понять самого себя и свой собственный внутренний путь, свое отношение к молитве и к искусству. Интересны в этом отношении письма Аксакова, которые он помещает в «Истории...». В письмах есть и покаяние, и признание того, что Аксаков продолжает верить в силу искусства и силу гоголевского таланта, но есть и молитва: «Прочь все теории и умствования: да будет благословенно искусство на земле!.. Да подкрепит Бог ваше здоровье и благословит окончательные труды ваши: ибо я считаю, что «Мертвые души» написаны... Я прошу у Бога милости дожить до их появления» (3; 373, 374). Многие письма Аксакова заканчиваются так: «Крепко вас обнимаю и молю у Бога сил и здоровья вам» (3;379); «Молю Бога, чтоб он подкрепил ваши силы» (3; 383).

Когда же Гоголя не стало, одна мысль преобладает (об этом говорят статьи о Гоголе) – мысль о значении Гоголя, о необходимости сохранения знания о важности, святости его пути – для вечности: «Я признаю Гоголя святым... это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время мученик христианства» (3; 387).

Две женщины, как показано в «Семейной хронике», молились особо – мать и Прасковья Ивановна, именно в соответствии с молитвой выстраивали они свое жизненное поведение. Главной героине воспоминаний Аксакова посвящены работы С. Л. Соболевской: «Чудо материнского благословения» и «Охотница до книг» (6), судьба же Прасковьи Ивановны еще не стала темой самостоятельного исследования, хотя очевидно, что с размышлениями о судьбе и жизненном поведении этих двух женщин, так близких друг другу, связаны и те два, столь важные и многозначительные аксаковские слова: холодность и жестокость... а также устойчивый мотив недоумения, который очевиден в творчестве Аксакова. Именно с поведением этих двух женщин связано и то, так рано зародившееся тонкое

детское внимание к странностям человеческого поведения, которое свяжет воедино тему временности человеческой жизни и тему молитвы. «Я... вспомнил, что маменька никогда при других не молится», – заметит Аксаков в «Детских годах Багрова-внука» (1; 567).

В первой половине девятнадцатого века, как известно, молитва сохранялась в жизненном укладе России. Об этом свидетельствуют труды старцев Оптиной пустыни, творения святителя Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. Козлова, А. Хомякова, И. Киреевского и многие другие. Об этом свидетельствует и «Семейная хроника», как прочитанная вне контекста окружающих ее речевых высказываний писателя, так прочитанная и в этом контексте. В этом можно легко убедиться, перечитав трилогию, но можно убедиться и в том, что чем более сужается и уменьшается контекст, тем более уменьшается многозначность «Семейной хроники», и наоборот: чем более увеличивается объемность контекстов, тем более увеличивается и многозначность произведения Аксакова; очевидной предстает ее сцепленность с этими контекстами; очевидным становится и авторское осмысление своего собственного пути.

В жизненном укладе девятнадцатого века, как известно, было и безверие, и сомнение. Онегин, Печорин, Чичиков – эти главные литературные герои первой половины девятнадцатого века – не исповедуются, не ищут духовного отца и, кажется, не признают Православия или просто *не ведают*. Делают маникюр, прыскаются одеколоном, спешат в театр или торговую палату, мучаются тоскою, но не стоят перед образом, не затеплят свечи, не читают Псалтири и т. д. Но это герои произведений не идут в храм – авторы этих героев знали и храм, и молитву, знали Священное Писание, писали стихотворения, проникнутые молитвенным настроением, искали *веру* как жизненную опору. И здесь важно не впасть в крайность, о которой предупреждал, например, В. В. Кожин. «Любая крайность отражает скорее мироощущение того человека, который ее придерживается. Мой покойный учитель Михаил Михайлович Бахтин, – замечал В. В. Кожин, – человек глубоко верующий, вообще говорил, что истинно религиозный человек всегда находится на грани веры и безверия» (2; 293) (выделено в источнике. – Е. Г.).

Автобиографические воспоминания С. Т. Аксакова, прочитанные с учетом взаимосвязанности *множества* контекстов, представляют собою те материалы, совокупность которых помогает разглядеть самый потаенный Предмет аксаковского внимания, Предмет, ускользающий от исследователя всякий раз, как только то или иное произведение прочитывается отдельно от другого. Относится это и к «Семейной хронике». Только при условии осмысления ее с учетом множества контекстов проявляется она как «трудный подвиг» писателя-книжника, который осуществлялся в том же величественном русле творческих и духовных исканий, в котором осуществлялось собирание В. И. Далем «Словаря живого великорусского языка», осмысление И. В. Киреевским и А. С. Хомяковым своеобразия и величия национальной культуры, собирание П. Киреевским и Н. М. Языковым народных песен, осмысление Н. В. Гоголем своего внутреннего пути.

Именно как «трудный подвиг», как нравственный подвиг писателя, продолжившего традиции древнерусского книжника, воспоминания Аксакова и продолжа-

ют оставаться непрочитанными. Изучение темы молитвы в «Семейной хронике» и связанного с нею большого аксаковского умолчания показывает, что весь творческий путь писателя есть явление *целостное*. И раннее стихотворчество, и театрально-критические статьи двадцатых и тридцатых годов, и так называемые биографические портреты последнего десятилетия жизни не просто взаимосвязаны общими темами или мотивами, они порождены одной и той же причиной – авторским устойчивым (на протяжении всего творческого пути) вниманием к феномену человеческого поведения, а также глубоко внутренним, трагическим недоумением, взаимосвязанным с этим тонким вниманием, как известно, зародившимся еще в самом раннем детстве, благодаря его, действительно, необыкновенной матери.

О чем говорит, если перечитывать «Семейную хронику» с учетом вышеприведенных наблюдений, столь частое упоминание молитвы? О размышлениях Аксакова о жизненном укладе, в котором естественным элементом была молитва, то есть вера... не как предмет говорения, а как условие нормальности жизни, как условие, требующее от человека выравнивания своего поведения в соответствии с молитвой, с верой в непреложность христианских заповедей. О размышлениях Аксакова о собственном пути между верой и безверием говорит «Семейная хроника», прочитанная с учетом взаимосвязанности контекстов. Но это тема самостоятельной работы, в которой может быть показано, что сохранение для вечности памяти о жизненном укладе, в котором вера является не объектом *говорения* о ней, а нормой жизни, Аксаков считал своим долгом, так же, как сохранение памяти о Гоголе, Загоскине, Шишкове, Державине, сохранение памяти о действительно *бывшем*, что является, как известно, характерной чертой традиционной словесности, характерной чертой древнерусского книжника, для которого написание жития было делом жизни, «трудным подвигом», долгом. Как видим, совершенно справедливым было замечание В. В. Кожина о том, что «Семейная хроника» С. Т. Аксакова – «сердцевинное явление отечественной литературы» (3; 105) (курсив источника. – Е. Г.). Именно «Семейная хроника» неразрывно связала новую литературу, литературу сочинительства, вымысла с литературой традиционной. Как известно, древнерусский книжник, по В. И. Далю, – это человек, который ценит книгу, знает Священное писание, но это еще и историк, оберегающий и сохраняющий для вечности свидетельства о действительно бывшем.

Библиографический список

1. Аксаков С. Т. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М., 1955. С. 279. Далее ссылки даются на это издание с указанием номера тома и страницы.
2. Кожин В. В. Грех и святость русской истории. М., 2006.
3. Кожин В. В. «Семейная хроника» С. Т. Аксакова. Победы и беды России. М., 2006.
4. Манн Ю. В. Семья Аксаковых. М., 1992.
5. Переписка И. С. Тургенева: в 2 т. Т.1. М., 1986.
6. Соболевская С. Л. Чудо материнского благословения // Аксаковские чтения: духовное и литературное наследие семьи Аксаковых. Материалы международной научно-практической конференции 28–29 сентября 2001 г. / отв. ред. Т. Н. Дорожкина. Ч. 2. См. ее же: Охотница до книг. К 225-летию со дня рождения М. Н. Аксаковой // Аксаковские чтения (1996–1997 гг.). Уфа, 1997.